

Даниэль Дефо
Сергей Жабин

**Даниэль Дефо -
Серьёзные
размышления
Робинзона Крузо**

Даниэль Дэфо

**Даниэль Дефо - Серьёзные
размышления Робинзона Крузо**

«Автор»

2026

Дэфо Д.

Даниэль Дефо - Серьёзные размышления Робинзона Крузо /
Д. Дэфо — «Автор», 2026

Третья, заключительная часть знаменитой трилогии Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо. Это не приключенческий роман, а сборник морально-философских эссе, написанных от лица героя. Дефо рассуждает об уединении, честности, нравственности беседы, религии и Промысле. Завершает книгу «Видение Ангельского мира» — размышления о духах, снах, предчувствиях и явлениях. Перевод выполнен в традиции XVIII века, снабжён комментариями, указателем имён и библиографией. Для всех, кто интересуется философией, богословием и литературой английского Просвещения.

Содержание

Глава	5
От издателя	7
Глава I. Об уединении	9
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Даниэль Дефо - Серьёзные размышления Робинзона Крузо

Глава

Даниэль Дефо. СЕРЬЁЗНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО

Часть I. «Серьёзные размышления»

К читателю

Как замысел всякого дела, говорят, бывает первым в намерении и последним в исполнении, так и я приступаю ныне к признанию перед моим читателем: настоящее сочинение — не только плод двух первых томов, но, скорее, два первых тома суть плод этого труда. Басня всегда пишется для нравоучения, а не нравоучение для басни.[1]

Я слышал, что завистливая и злонамеренная часть публики выдвинула некоторые обвинения против двух первых томов, прикрывая собственную злонамеренность ложным предлогом и не находя лучшего оправдания. Говорят, будто эта история вымышлена, имена заимствованы, и всё это — роман; будто никогда не было ни такого человека, ни места, ни обстоятельств в чьей-либо жизни; будто всё сочинено и приукрашено вымыслом, чтобы обмануть читателя.[2]

Я, Робинзон Крузо, находясь ныне в совершенном и здравом уме и памяти — благодарение за это Богу, — объявляю: возражение их — вымысел, постыдный по замыслу и ложный по существу. Утверждаю, что эта история, хотя и аллегорическая, в то же время историческая; что она — прекрасное изображение жизни, исполненной беспримерных бедствий и превратностей, какие не встречаются в мире; что она от всего сердца предназначена для общего блага человеческого рода и задумана изначально — как и ныне осуществляется — для самых серьёзных целей, какие только возможны.

Более того: есть человек, который жив и притом хорошо известен, — его деяния и есть истинный предмет этих томов.[3] На кого эта история прямо указывает, в ком всякий легко узнает подлинного героя повествования, — на это можно положиться как на истину, и в подтверждение я ставлю своё имя.

Не вдаваясь в подробное изъяснение дела, продолжу рассказ для читателя: счастливые выводы, которые я извлёк из обстоятельств этой истории, щедро вознаградят его за то, что аллегория не была растолкована в первом томе.[4] И когда в моих наблюдениях и размышлениях всякого рода в этом томе я упоминаю свои уединения и удаления и намекаю на обстоятельства прежней истории, все эти части истории суть действительные факты моей жизни: под покровом аллегории, в вымышленных образах скрываются подлинные события.

Страх, последовавший за отпечатком человеческой ноги; удивление при виде старого козла; нечто, покотившееся по постели; и я, вскочивший в испуге, — всё это было не вымыслом, а подлинными происшествиями. Точно так же сон о том, как меня взяли посланцы, как меня арестовали офицеры; образ, как меня вынесло на берег волной; корабль в огне; описание голода; история моего слуги, наречённого Пятницей, и многие другие важнейшие места, здесь отмеченные, которые сопровождаются религиозными размышлениями, — всё это исторично и истинно по факту.

Поистине, у меня был попугай, и я научил его называть меня по имени; что слуга мой был дикарь, а после — христианин; что имя его было Пятница;[5] что его отняли у меня силой, и он умер в руках тех, кто его взял, — я изображаю его убитым; всё это буквально верно, и если бы я вдался в разоблачения, многие ныне живущие могли бы это засвидетельствовать.

Прочее его поведение и помощь, которую он мне оказывал, вполне соответствуют той помощи, которую я получал от верного дикаря в моих действительных уединениях и бедствиях.

От издателя

Публикация сего необычайного тома не покажется самонадеянностью, если вспомнить, с каким неожиданным добром и злом он был принят в мире.

Если основание заложено столь хорошо, то и строение не может не быть соразмерным; и как притча была столь занимательна, так и нравоучение, несомненно, должно быть равно приятно.

Успех, выпавший на долю двух первых частей, стал известен по зависти, которую он навлёк на издателя и которая выразилась в тысяче жёстких слов от людей торговли — следствие того сожаления, которое они питали о том, что не имеют в нём доли. И я должен воздать автору справедливость, сказав, что ни одна собака не тявкнула на само сочинение, и не было сказано ни слова, чтобы умалить его ценность, что не было бы явным следствием той зависти к удаче книгопродавца.

Загадка ныне разъяснена, и разумный читатель может ясно увидеть цель и замысел всего труда: что он рассчитан на улучшение и наставление рода человеческого на путях добродетели и благочестия — через изображение различных обстоятельств, которым подвержен род человеческий, и ободрение тех, кто впадает в обычные или чрезвычайные превратности жизни, — дабы они умели преодолевать трудности с неустанным прилежанием и усердием и взирать на Промысл в ожидании успеха.

Наблюдения и размышления, составляющие сей том, венчают труд; если учение было принято, применение по необходимости должно понравиться; и автор показывает ныне, что приобрёл достаточно опыта, чтобы делать других людей мудрыми, а себя — счастливым.

Нравоучение басни, как называет его автор, в высшей степени назидательно; и те, кто столь злонамеренно упрекал его за то, что его басня не приносит пользы, будут иметь досуг поразмыслить, что они вынесли своё суждение слишком поспешно и, как глупец Соломона^[1], судили о деле, прежде чем выслушали его.

Те, чья жадность, возобладав над их честностью, вторглась в собственность сей книги через порочное сокращение, обманулись в своей надежде и устыдились содеянного; сваливая вину, как могли, хотя и слабо, с одного на другого: главный пират отправился на своё место; и мы больше о нём не говорим. *De mortuis nil nisi bonum*^[2]; довольно и того, что попытка оказалась бесплодной, как и низость замысла давала им основание ожидать.

Объявление

Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка: который прожил двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ устья великой реки Ориноко, потерпев кораблекрушение, при котором все люди погибли, кроме него самого; с повествованием о том, как он был наконец столь же удивительно освобождён пиратами. Написано им самим. Третье издание.

Дальнейшие приключения Робинзона Крузо, составляющие вторую и последнюю часть его жизни, и удивительные повествования о его путешествиях по трём частям света. Написано им самим. Второе издание: к которому приложена карта мира, где изображены путешествия Робинзона Крузо. Обе продаются у У. Тейлора, под вывеской «Корабль и Чёрный лебедь» в Патерностер-Роу.^[6]

Серьёзные размышления Вступление

Мало пользы было бы от моих лет, проведённых в одиночестве и скитаниях, если бы после такой череды чудес, которую по справедливости можно назвать моей жизнью, мне нечего было сказать и я не сделал бы никаких наблюдений, которые могли бы быть полезны и назидательны, а также приятны и занимательны для тех, кто придёт после меня.

Глава I. Об уединении

О том, сколь оно не способно сделать нас счастливыми и сколь непригодно для христианской жизни

Я часто оглядывался назад, можете быть уверены, и притом по-разному, на понятия о долгой, томительной жизни в уединении, которую я представил миру и о которой вы должны были составить некоторое представление по жизни человека на острове. Иногда я думал, что уединение видят в удалении от мирских наслаждений и в отчуждении от общества людского; но это не было истинным уединением — воистину, ничто в нём не было таковым, кроме той части, которую, как в моей истории, я посвящал созерцанию вещей возвышенных; а этого было весьма немного, как хорошо известно моим читателям, в сравнении с тем, сколь долго длилось моё вынужденное удаление.

Итак, очевидно: поскольку я не вижу ничего, что было бы чуждо уединению в вынужденном удалении на острове, — потому что мысли не пребывали в том покое, какой приличествует уединённому состоянию, и так было долго, — постольку я могу утверждать, что наслаждаюсь куда большим уединением среди величайшего скопления людей в мире, имею в виду Лондон, пока пишу это, нежели когда-либо мог сказать, что наслаждался им за двадцать восемь лет заточения на пустынном острове.

Я слышал о человеке, который, почувствовав необычайное отвращение к неподобающим беседам некоторых из ближайших родственников, общества которых не мог избежать, внезапно решил никогда более не говорить. Он неуклонно хранил свой обет многие годы; ни слёзы, ни мольбы друзей, ни даже жена и дети не могли склонить его нарушить молчание. По-видимому, их дурное обращение с ним было тому причиной: они говорили с ним языком оскорбительным, что часто приводило его в неподобающий гнев и вызывало у него дерзкие ответы; и он избрал этот суровый путь, чтобы наказать себя за вспышку гнева и одновременно укорить тех, кто его гневил. Но суровость эта была непростительна: она разорила его семью и разрушила его дом. Жена его не могла этого вынести и, после того как всеми возможными способами пыталась изменить его непреклонное молчание, сначала ушла от него, а после — от самой себя, впад в меланхолию и безумие.[7] Дети его разошлись — кто в одну сторону, кто в другую; и лишь одна дочь, любившая отца более всех прочих, осталась с ним, ухаживала за ним, говорила с ним знаками и жила почти немая, как и её отец, около двадцати лет с ним; пока, тяжело заболев и находясь в сильной горячке, в бреду, когда разум его был помрачён, он не нарушил своё молчание, сам не зная, когда это сделал, и заговорил, хотя сначала бессвязно. После он выздоровел от болезни и часто беседовал с дочерью, но немного, и весьма редко с кем-либо ещё.

Однако этот человек не вёл молчаливой жизни в отношении самого себя: он непрестанно читал и записывал много превосходных вещей, которые заслуживали того, чтобы увидеть свет; и часто его слышали молящимся Богу в его уединениях весьма внятно и с великим жаром. Но несправедливость, которую его опрометчивый обет — если то был обет — молчания причинял его семье, и та мера, до которой он его довёл, были столь непростительны в другом отношении, что я не могу сказать, будто наставления его могли иметь большую силу.

Если бы он был человеком одиноким, если бы он удалился в чужую страну или место, где обстоятельства его не были бы соблазном, его обет молчания мог бы быть столь же похвальным и, как я полагаю, куда более, нежели обеты уединения первых христиан; чьё удаление в пустыню и посвящение себя молитве и созерцанию, презрение к человеческому обществу и тому подобное были столь высоко ценимы древними отцами, откуда и произошли впервые наши религиозные обители и монашеские ордена.[8]

Иудеи говорили, что Иоанн Креститель был одержим бесом, потому что любил уединение и удаление; и взяли это из старой пословицы, которая была у них в ходу в то время: что всякий уединённый человек должен быть либо ангелом, либо бесом.[9]

Человек, давший обет вечного молчания, если он строго его соблюдает, будет даже на лондонской бирже столь же совершенно удалён от мира, как отшельник в своей келье или пустынный в пустынях Аравии; и если он способен соблюдать его строго, то может пожать все выгоды тех уединений, без непростительной стороны такой жизни и без суровостей жизни среди зверей. Потому что душа человека, находящегося под должным и правильным руководством, столь же способна сохранять себя или отделять себя от остального человеческого общества посреди толпы, сколь и тогда, когда она изгнана на пустынный остров.

Истина в том, что все те отшельнические уединения, которыми люди столь гордятся, — лишь признание недостатка или несовершенства наших решений, нашей неспособности связать себя необходимыми ограничениями или строго соблюдать пределы, которые мы сами дали обет соблюдать. Или, говоря иначе: человек, сначала решивший, что счастьем его будет всецело предаться беседе только с небом и небесным, отделиться для молитвы и добрых дел, — но чувствуя, сколь плохо такая жизнь согласуется с плотью и кровью, — заставляет свою душу совершить насилие над своим телом и увести его силой, так сказать, в пустыню или в религиозное удаление, откуда оно не может вернуться и где невозможно ему иметь никакого общения с людьми, кроме как с теми, кто под теми же обетами и в том же изгнании. Безрассудность этого очевидна во многих отношениях.

Я применю это к нашему случаю так: христиане могут, без сомнения, достичь всех желаемых выгод уединения через строгое удаление и тщательное управление своими мыслями, без всех тех формальностей, суровостей и показных умерщвлений, которые я по справедливости называю насилием над человеческой природой, и, следовательно, без нарушения христианских обязанностей, которые они с собой необходимо несут, — таких как отход от христианского общения, таинств, установлений и тому подобного.

Нет нужды в пустыне, чтобы блуждать среди диких зверей; нет необходимости в келье на вершине горы или в пустынном острове в море. Если ум заключён в себе, если душа истинно владеет собой — всё безопасно; потому что она, несомненно, госпожа тела. И что значат удаления, особенно вынужденное удаление, каким было моё? Тревога моих обстоятельств там, могу вас уверить, была поначалу такой, что мало подходила для небесных размышлений; и даже когда это было преодолено, частые тревоги от дикарей приводили душу иногда в такие крайности страха и ужаса, что всякое спокойствие терялось, и я был не более пригоден для религиозных упражнений, нежели больной для труда.

Божественные созерцания требуют покоя души, не нарушаемого никакими чрезвычайными движениями или расстройствами страстей; и это, говорю я, гораздо легче обрести и вкушать в обычном течении жизни, нежели в монашеских кельях и насильственных удалениях.

Дело в том, чтобы обрести уединённую душу, строй ума, истинно возвышенный над миром; и тогда мы можем быть одинокими, когда пожелаем, посреди величайшей видимой суеты дел или общества. Если мысли свободны и правильно заняты — что значит, каким делом занято тело? Разве душа действует через иное посредство? Разве тело не слуга, более того — раб души? Есть ли у тела руки, чтобы действовать, или ноги, чтобы ходить, или язык, чтобы говорить? Они действуют не иначе как через посредство разума и воли, которые суть два наместника власти души. Разве все привязанности и все страсти, которые столь всеобщее волнуют и направляют тело и владеют им, — разве все они не заключены в душе? Что же нам тогда остаётся, как не привести душу к высшему управлению и возвышению? Нет нужды предписывать телу то или иное положение; руки, или ноги, или язык могут не более нарушить уединение души, нежели человек, имеющий деньги в кармане, может вынуть их, или уплатить, или распорядиться ими своей рукой без своего ведома.

Именно запутанность души внешними предметами прерывает её созерцание.

Все движения к добру или злу — в душе. Внешние предметы — лишь вторые причины; и хотя верно, что отделение человека от предмета — способ сделать какое-либо действие невозможным, однако там, где вина заключается не только в действии, но и в намерении или желании совершить его, — это отделение ничего не значит и ничего не производит. В монастыре, куда женщина никогда не входит, может быть совершенно столько же прелюбодеяний, как и в любом другом месте, и, быть может, так и бывает.

Воздержание от зла зависит, следовательно, не только и не всецело от ограничения или заключения действий человека, но от ограничения и заключения его желаний; потому что желать грешить — значит грешить; и дело, которое мы совершили бы, имея мы возможность, действительно совершено, и за него должно быть отвечено как за таковое. Что же тогда, говорю я, остаётся от религии в вынужденных удалениях от мира и обетах молчания или уединения? Они все — ничто; лишь уединённая душа одна пригодна для созерцания; и победа над нашими желаниями грешить — единственное человеческое средство против греха.

Прошло немало времени после того, как я вернулся в человеческое общество, прежде чем я почувствовал некоторое сожаление об утрате одиноких часов и удалений, которые имел на острове. Но когда я поразмыслил о некоторых дурно проведённых часах даже в моих уединениях, я нашёл основание увидеть то, что сказал выше: что человек может грешить в одиночестве несколькими способами и находить предмет для покаяния в своих уединённых преступлениях, как и посреди многолюдного города.

Превосходство любого состояния жизни — в его свободе от преступления; и очевидно из нашего опыта, что некоторое общество может быть лучше приспособлено к праведности жизни, нежели полное уединение и удаление. Некоторые говорили, что после отсутствия общества хорошее общество — наилучшее; но моё мнение таково, что после хорошего общества никакое общество — наилучшее. Ведь как несомненно, что никакое общество лучше дурного, так столь же несомненно, что хорошее общество много лучше, нежели никакое.

В уединении человек беседует с самим собой; и, как сказал один мудрец, он не всегда уверен, что не беседует со своим врагом. Но тот, кто в хорошем обществе, уверен, что всегда среди друзей.

Общество людей религиозных и добрых — постоянное удержание от зла и поощрение к жизни религиозной. Там вы имеете красоту религии, явленную в примере; вы никогда не лишены как наставления в добре, так и примера для него; вы имеете презрение к злым вещам, которое вам постоянно внушают, и привязанности, побуждаемые находить усладу в добром через ежечасное подражание. Если мы одни, мы лишены всего этого и ведомы вправо или влево, смотря по тому, каков в то время нрав ума, который иногда слишком уж служит руководителем наших действий и мыслей. Здесь нет удержания для наших мыслей, кроме как от нас самих; нет удержания для наших действий, кроме как от нашей собственной совести; и нет ничего, что помогло бы нам в умерщвлении наших желаний или в направлении их, кроме наших собственных размышлений, которые, в конце концов, могут часто заблуждаться, часто быть предвзятыми.

Если вы желаете удалиться от мира, непременно удалитесь в хорошее общество; удалитесь к хорошим книгам и удалитесь к хорошим мыслям: они всегда будут помогать друг другу и всегда соединятся, чтобы помочь тому, кто прибегает к ним в своих размышлениях, направят его к справедливым размышлениям и взаимно ободрят его против всего, что может напасть на него изнутри или извне. Тогда как удалиться от мира, как это называется, значит удалиться от добрых людей, которые — наши лучшие друзья.

Кроме того, удалиться, как мы это называем, в полное совершенное уединение значит удалиться от общественного богослужения, оставить собрания; и, одним словом, это незаконно, потому что обязывает нас оставить то, что нам заповедано делать.

Уединение, следовательно, как я понимаю его, — удаление от человеческого общества по религиозным или философским причинам — чистый обман; оно не может ни достичь цели, которую предлагает, ни приготовить нас к обязанностям религии, которые нам заповедано исполнять; и потому оно нерелигиозно само по себе и несовместимо с христианской жизнью во многих отношениях. Пусть человек, желающий пожать выгоды уединения и понимающий значение этого слова, научится удаляться в самого себя. Серьёзное размышление — сущность уединения; все удаления в леса и пустыни ниже этого. И хотя человек, совершенно овладевший этим удалением, может быть несколько в опасности квиетизма,[10] то есть склонности к пассивному созерцанию, — однако это может быть в основном клеветой на него, и он может вознаградить себя перед миром блаженным покоем своей души, которого те, кто кажется более весёлым, быть может, имеют немного.

Удаление в пустыни в первые дни религии и в аббатства и монастыри — что они были? Или что они могли сделать для обретения того удаления, о котором я говорю? Они действительно были вещами, которые следует причислить к суровостям и делам умерщвления плоти, и в этом смысле могли быть похвальны. Но я должен настаивать на том, что уединённая душа не затрагивается ими более, нежели суетой общества и компании. Когда душа человека могутственно занята каким-либо предметом, она подобна душе святого Павла, восхищенной — в третье ли небо или в какую-либо низшую степень возвышения.[11] Такой человек может поистине сказать с апостолом: в теле ли я был, или вне тела, не знаю.[12] В таком восхищенном состоянии я положил начало тому, что именую моим Видением Ангельского мира, малую часть которого я здесь прилагаю.

Разве разумно верить, что ум, возвышенный столь далеко над состоянием вещей, с которыми мы обычно имеем дело, не способен к отделению от них, что, одним словом, и есть крайняя степень уединения? Пусть такие никогда не смущаются тем, что не могут удалиться от мира. Пусть научатся удаляться в мире, и они вкусят совершенное уединение, столь полное во всех отношениях, как если бы им предстояло жить в куполе собора Святого Павла или на вершине Чевит-Хилл в Нортгумберленде.[13]

Те, кто не может уединиться таким образом, должны не только удалиться от мира, но и из мира, прежде чем достигнут истинного уединения. Человек по самой природе своей создан для общества, так что можно сказать не только, что не хорошо ему быть одному, но что поистине невозможно ему быть одному. Мы столь непрестанно нуждаемся друг в друге; более того, в столь абсолютной необходимости помощи друг от друга, что те, кто брался представить нам жизнь и образ пустынников — как они их называют, — людей, отделившихся от человечества и блуждавших в пустынях Аравии и Ливии, часто вынуждены были прибегать к тому, чтобы свести ангелов с неба для исполнения той или иной чёрной работы для них; измышляя мнимые чудеса, чтобы сделать жизнь истинного пустытника возможной. Иногда у них нет хлеба, иногда нет воды в течение долгого времени; и тогда чудо выводится на сцену, чтобы они жили так долго без пищи. В другое время ангелы приходят быть их поварами и приносят им готовую еду; быть их врачами и приносят им лекарства, и тому подобное. Если святой Иларий[14] в своих странствиях приходит к реке Нил, смиренный крокодил является, чтобы перевезти его на своей спине; хотя нам не говорят, просил ли крокодил его прокатиться, или он просил крокодила, или каким образом они стали столь знакомы друг с другом. И что всё это по сравнению с уединением души, которая беседует на небесах посреди бесконечных толп людей и для которой ближайшие из других предметов — ничто, как ничто были предметы гор и пустынь, львов и леопардов и тому подобного для тех, кто изгнал себя в Аравию?

Кроме того, в состоянии жизни, где обстоятельства легки и обеспечение необходимого для жизни, без чего лучший святой не может обойтись, делается тихо и обильно, — разве ум имеет не бесконечно больше простора для ухода от мира, нежели когда в лучшем случае он должен блуждать за своим дневным пропитанием, хотя бы то был лишь плод поля?

Пусть никто не оправдывается недостатком уединения, что он любит уединение, но не может насладиться им из-за запутанности мира. Всё это — заблуждение. Если он любит его, если он желает его, он может иметь его когда, где и так часто, как пожелает; каковы бы ни были его суеты, труды или скорби. Не недостаток возможности для уединения, но недостаток способности быть уединённым — вот что имеет место во всех обстоятельствах жизни.

Я знал одного бедного, но доброго человека, который, хотя и был работником, был человеком разума и религии; работая однажды с другими людьми, снимая большое количество земли, чтобы поднять насыпь у края пруда, он был в таком самозабвении и так восхищен совершенным применением своего ума к весьма серьёзному предмету, что бедняга загнал себя и свою тачку в пруд и не мог прийти в себя, пока не пришла помощь. Этот человек был, несомненно, способен к совершенному уединению и, быть может, действительно наслаждался им. Потому что, как я часто слышал от него, он жил один в мире: во-первых, не имел семьи, которая запутывала бы его привязанности; во-вторых, его низкое положение ставило его вне внимания высших слоёв общества; в-третьих, его замкнутые размышления ставили его выше порочной части, которая была в той же среде, что и он; среди них, как он говорил и что совершенно верно, очень трудно было найти порядочного человека, тем более доброго. Так что он жил действительно один в мире; прилагал себя к труду для своего пропитания, не имел дел с людьми, кроме необходимого для жизни, и беседовал на небесах столь же действенно и, я полагаю, во всех отношениях столь же божественно, как святой Илариус в пустынях Ливии среди львов и крокодилов.

Если бы это удаление, которое они называют уединением, состояло лишь в отделении человека от мира, то есть от человеческого общества, — оно было бы само по себе вещью весьма низкой и могло бы во всех отношениях быть заменено удалением из места, где человека знают, в место, где его не знают, и там приучением себя к уединённой жизни, не заводя новых знакомств и пользуясь обществом людей лишь для практических нужд и снабжения необходимой пищей. И я думаю, что из двух такой человек, или человек, так удалившийся, может иметь больше возможности быть совершенным затворником и наслаждаться более истинным уединением, нежели человек в пустыне. Например:

В уединении, о котором я говорю, человеку нечего больше делать для необходимого в жизни, как получать его из рук тех, кто должен его доставлять, и платить им за это. Тогда как в уединении пустыни и блуждающих жизней, откуда проистекает вся наша монашеская набожность, они каждый день должны были искать свою пищу, какова бы она ни была, или нести её груз. И если не считать тех случаев, когда, как говорится, они вынуждали Промысл к чуду, чтобы доставить её, у них часто было достаточно трудностей для поддержания жизни; и, если можно верить истории, многие из них умерли голодной смертью или от жажды — и последней столь же часто, как и первой.

Те, кто прибегал к этим уединениям лишь как к умерщвлению своего тела, как я заметил ранее, и к избавлению себя от соблазнов, которым подвергало их общество, — имели, пожалуй, более веские основания, нежели те, кто утверждал, что делает это, чтобы предаться молитве и размышлению. Первые могли иметь некоторое основание в природе для этого дела, поскольку нравы и телосложения людей могли вести их к тому: некоторые имели чрезмерную склонность к преступлениям, некоторые были от природы привержены к одной дурной привычке, некоторые к другой; хотя христианская религия не обязывает нас к тем способам насилия над нашими телами для обуздания насилия чрезмерных желаний. Блаженный апостол Павел, кажется, находился в этих обстоятельствах, когда, будучи поражаем тем, что в тексте называется жалом в плоть,[15] — что бы там ни разумелось, это не к моей цели, — но он молился Господу трижды.[16] Это было первым способом, который избрал апостол, и тем самым подал благочестивый пример всем тем, кто подвергается какому-либо искушению. Он не бросился тотчас к суровостям и телесным умерщвлениям, отделяя себя от человечества или убегая в пустыню,

чтобы предаться посту и удалению от мира, что есть предмет всякой личной ловушки. Но он обратился с серьёзной молитвой к Тому, Кто научил нас молиться: и не введи нас во искушение.[17] И ответ также наставителен в этом случае: он не был изгнан, как Навуходоносор,[18] в пустыню; ему не было повелено удалиться в пустыню, чтобы быть свободным от искушения; ничего подобного. Но ответ был: довольно для тебя благодати Моей[19] — достаточно без помощи искусственных умерщвлений.

Так что даже в случае этих насильственных умерщвлений они не требуются, тем менее предписываются как помощь для размышления. Потому что если бы размышление не могло быть благотворно совершаемо и для всех целей и намерений, для которых оно было установлено как обязанность, без бегства от лица человеческого общества, — жизнь человека была бы весьма несчастна.

Но, без сомнения, противное очевидно, и все части совершенного уединения могут быть столь же действенно вкушаемы, если мы пожелаем, при содействии достаточной благодати, даже в самых многолюдных городах, посреди суеты разговоров и галантности двора или шума и дел лагеря, как в пустынях Аравии и Ливии или в пустынной жизни необитаемого острова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.